

СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Выпуск 1

— Здравствуйте!

Хотим мы того или не хотим, в мире сем, на этой земле все мы связаны нерасторжимыми узами. Урок Армении показал: приходит час, и не только народы, но и отдельные люди, распри позабыв, объединяются ради всего, что свято и понятно каждому. Лично я все-таки верю: в человеке достаточно много заложено от природы и доброты, и разума, и сил, чтобы остановиться даже на поле брани.

Вот наше литературно-художественное приложение. Наша малая попытка объединить для разговора о самом важном для всех нас очень разных людей — и по возрасту, и по воззрениям, и по темпераменту. В своем кругу близкие говорят без обиняков. И как-то ухитряются не разругаться вдрызг! Так ли уж много на нашем тернистом общем пути камней преткновения! Так ли уж много развилок — неизбежных, роковых! Кажется, что немного. Почему же все-таки мы так часто спорим

сегодня — в ситуации, когда каждому наконец дано высказаться! «Семейный круг» — это не только литературные чтения для семьи, где каждый, хочется верить, найдет что-то для себя. Это и наша под-сказка очередной темы, нового предмета для разговора на семейном совете...

Что ж, давайте попробуем. И сегодня поговорим о том, что так часто воздвигается преградой меж нами: о позиции. О принципах.

Принципами не могут поступиться как тираны, так и тираноборцы. Рассуждения могут нас завести в тупик, если исключить одно-единственное условие: в о и м я. Во имя чего, ради чего и за чей счет отставляем мы свои принципы. Вот обо всем этом и размышляют, скорбят, рассказывают, даже поют авторы нашего «Семейного круга».

Михаил ПОЗДНЯЕВ,
редактор «Семьи» по отделу культуры.

И для начала — интервью с народным артистом СССР И. Смоктуновским. Его беседа — совсем молодая журналистка, это ее дебют в жанре пространного диалога. И записанный ею разговор, на наш взгляд, — штрихи не только к портрету жизни прожившего человека, мировой знаменитости, но и к портрету поколения, рожденного в 60-е — в годы «первой перестройки»...

ДВА ВЕЧЕРА В ГРИМЕРНОЙ

ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ

«Билетика лишнего нет?», «Девушка, у вас не будет лишнего билета?», «Билет не продадите?»
«Нет, нет! — я проталкиваюсь сквозь толпу и бегу к службному входу. — Нет, извините. Нет... к сожалению, нет». Сегодня вечером во МХАТе «Мольер» Булгакова. Премьера.

Я сверяю часы с электронным табло у службного входа. Время летит незаметно, тают одна за другой цифры на циферблате под набежавшей на них стрелкой. Единичка, двойка... В проходной раздается гудок машины, и вахтер идет открывать ворота. Я вылетаю за шлюз на улицу и бросаюсь к черной службной «Волге». Темно. Ничего не видно. «У вас не Смоктуновский?» — «Смоктуновский». Нажимаю ручку двери. «Здравствуйте, Иннокентий Михайлович!» — «Добрый вечер. Садитесь в машину». Мы выезжаем во двор. Выходим. Поднимаемся на лифте на второй этаж, идем в гримерную. «У меня сегодня очень тяжелый день. И потом, то горе, которое произошло у нас в театре. Знаете! Богатырев...» — «Я все понимаю, Иннокентий Михайлович...» Он минуту задумывается и потом, посмотрев на мое полное ожидания лицо, спрашивает: «Вопросов у вас много!»

До начала спектакля — один час...

— В последнее время идут споры о том, что формирует человека как личность в детстве. На какой почве росли и воспитывались вы? Какой была та среда?

— То, что человека формирует среда, — это совершенно определенно, и к этой аксиоме что-то новое добавлять трудно. Да, безусловно, среда. И нижний, основной слой окружающей среды — семья. Однако я не стану говорить уж очень категорично, потому что есть еще фактор человеческий. Индивидуумы, личности — как же с ними, если ученый мир говорит, что характер в целом формируется у человека с полугодовалого возраста до двух лет? Прибавим сюда и самодисциплину, которая тоже вводится в нас, как программа, закладываемая в ЭВМ... Ну, а как рождаются Пушкины — это вообще тайна...

Я думаю, что мой характер и то, какой я, — итог Времени. Мои родители бежали от голода из деревни в 1929 году в Красноярск — вся семья бежала, потому что была прудраверстка какаля-то дурацкая, коллективизация, которая требовала отнять у людей ВСЕ! Все отняли — и ничего не дали. И люди просто подыхали. Понимаете? Как это горько, невыносимо горько! Просто подыхали... Вот и мой брат умер. Чтобы не похоронить всех остальных детей, родителям пришлось бросить

землю, хотя это тоже наказывалось, потому что они спасались от колхозов. В Томске не смогли осесть — это в ста двадцати километрах от деревни, в которой мы жили, в Томск был слишком большой наплыв крестьян. И там их просто-напросто хватили и сажали в тюрьмы. Родители отправились в город, где деревень в округе было меньше, — в Красноярск. Это край не такой благодатный, как Томск, и потом деревни от города находились далеко. И в Красноярске не хватили беглецов, так как там начиналась индустриализация, строительство каких-то фабрик (их все называли «макаронными»). Отец был очень большой физической силы человек и устроился работать в Красноярский порт грузчиком. Мать нашла место на колбасной фабрике...

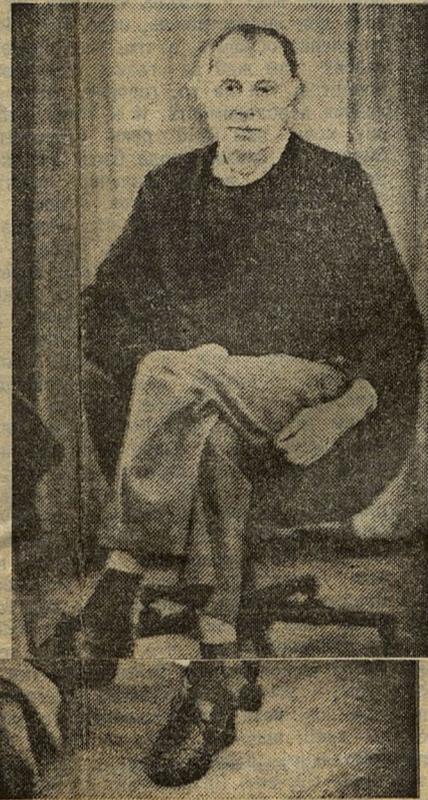
— А кто они вообще были?

— У них не было никакого образования. Они просто, знаете, были хорошие русские люди, «от земли». Их родила земля, и они любили, понимали землю, а их оторвали от нее. Была у семьи какаля-то лошаденка, корова и десять овец да два поросенка... Все это у них забрали и сказали: «Поздравляем! Вы теперь колхозники!» Но отец, очень свободолюбивый по натуре, не захотел идти туда, куда гонят силой... И приехали мы в Красноярск. Отец, как я уже сказал, стал работать в порту, а мать с колбасной фабрики таскала домой кости. На костях оставались кусочки мяса, мы варили их, и это был совершенно замечательный суп, и мы жили припеваючи. Все было бы хорошо, не случись второго повального голода в 32-м году... Это трудно сегодня представить: подряд два выкашивающих голода. И вот как раз в это время меня взяла к себе на воспитание тетка. Родная сестра отца. Надежда Петровна. Она жила там же, в Красноярске. Тетка не имела детей, и потому отдала ей меня и Володьку. Аркашка остался у родителей — это любилец, он очень был толстый и белый, совсем блондин. А мы с братом — я вот рыжий, а Володька был вообще какой-то черный, нас не любили и отдали этой тетке...

— Кто не любил, мама?

— Ведь в семье всегда бывают, так сказать, любимцы и «нелюбимцы». А потом просто надо было выжить, и вот представился случай... Тетка была неученым, необразованным человеком, но она была — в силу того, что у нее не было детей, а очень хотелось их иметь, — необыкновенно сердечной и доброй. Мне непонятно, за что она меня полюбила, потому что я был какой-то... Единственное, что у меня было, это толстая рожа, щеки, толстые губы, а сам очень худой, просто какой-то урод! И рыжий — в отца...

Так и жили: я — у тетки, другие дети — с отцом и матерью. И почти сразу начались ссоры матери с теткой. Эти скандалы, помню, меня очень здорово били по душе. Мне было так тяжело! За-



ступаться за мать — значит обидеть тетку. Заступаться за тетку — значит обидеть мать... Это я все к тому говорю, что вот как оно, воспитание, происходит. Воспитание нервов, души, честной позиции. Этот мой нейтралитет, это честно занятая позиция (хотя это было трудно, невероятно трудно, и тем не менее я все-таки ее старался держать) сказались на фронте. Там были ситуации, когда совершенно невозможно было выжить, если не пойти на какие-то компромиссы. Я на них никогда не шел. И вот видите — жив...

— Иннокентий Михайлович, вы человек, много испытавший и физической, и моральной, и душевной боли. Согласны ли вы с тем, что сегодня, в мирное время, мы разучиваемся прощать? Фронт научил вас многому. Научил ли он прощать?

— Вы знаете, у меня погиб отец на фронте, и я сам прошел два года фронтовой жизни. Я очень долго не мог простить немцам то, что они натворили в моей стране. Хотя я по своей сути вообще очень... ну, короче, мне не нужны никакие агитации за интернационализм. Я просто не знаю, что это такое: ты татарин, а я вот русский — я выше тебя! Этого я не могу понять. Я знаю, что все национальности прекрасны и замечательны, все они вызывают восхищение своими песнями, обычаями, обрядами. Но, простите за признание, немецкую речь я долго даже не мог слышать. И долго в моем сердце, в моей душе сидело то, что не давало мне сил и возможности относиться к этой нации с уважением. Но однажды у меня брал интервью молодой журналист. По-моему, очень хороший человек. Он задавал какие-то удивительно простые вопросы. И, отвечая на один из его «вопросов», я сказал, что не могу никак побороть в своей душе ненависть к немцам. Он тихо произнес: «Вы несчастный человек, как мне жалко вас!» И так искренне он сказал это, что мне стало не по себе. Такая контузия добротой... И это меня излечило.

А в сегодняшней жизни... Прощаю, конечно. Но не подлость, не подлецов. Прощать подлеца — самому поступать подло... Я думаю так.

— Сейчас очень много говорится и пи-

шется об интеллигентности. Разные люди и в разное время пытались дать этому слову какое-то толкование. Если позволите, я поделюсь с вами самым интересным, на мой взгляд, толкованием интеллигентности из всего, что я слышала и читала: интеллигентность — это постоянная и непреходящая потребность человека переделывать то время и тот мир, в котором он живет. Вы с этим согласны?

— Человек, который переделывает мир и время... Да. Но я бы к этому прибавил свое ощущение, понимание интеллигентности. Мне кажется, главное — ТАКТИЧНО переделывать и мир, и время, и среду... Именно тактично. Ни в коем случае не насиловать, не навязывать, а только предлагать: «А это, может, лучше, точнее, как вы думаете?» Переделывать мир привычным методом нажима? Ну, вот мы переделали мир... Извините, прервусь — вспомнил характерный для нашего разговора случай.

Театр был во Франции, и на одной из встреч нас спросили: а почему у вас в магазинах ничего нет? Мы ответили: перестройка... Нам возразили: а почему же вот у нас, во Франции, тоже многое переделывается, но у нас в магазинах все есть? Нам приходилось сглаживать острые углы, выкручиваться...

— А почему выкручиваться? Почему не сказать правду?

— Но ведь для того, чтобы ругать все эдашнее, надо здесь жить. Я тоже здесь ругаю многое, но нельзя любить только магазинные витрины... Нет! Это просто должно быть — и все. Понимаете? Мы говорим о свободе, о демократизации, но, как это ни странно, именно здесь сейчас больше свободы, чем там. И я вам скажу почему — это не просто слова. Мы свободны от думанья о деньгах, потому что, сколько бы мы ни работали, мы не сможем заработать так, чтобы жить так вольготно, как они, иметь виллы, яхты...

— Но это очень грустная истина!

— Очень грустная... Грустно, когда люди всю жизнь зависят от денег. А у нас этого нет, и мы свободны...

— Потому что мы нищие!

— Но не духом, отнюдь! Вот когда мы перестанем любить эту землю, тогда мы будем нищими во всех смыслах. Но пока нам больно за Россию — мы сказочно богаты! Богаты — потому что надеемся.

Я прервался... Рассказывал о Франции. Я ответил тому французцу: «Понимаете, у нас только недавно была Великая революция — 70 лет назад, а если уж начистоту говорить, — она у нас только четвертый год... — Значит, дело ваше плохо, — сказал мне он. — Ведь у нас двести лет назад взяли Бастилию, и мы до сих пор не можем опомниться, а у вас только четыре года... Значит, у вас еще все впереди...»

И вот, я думаю, особенно в вопросе, касающемся переделки мира, интеллигентность должна быть очень деликатной. Потому-то она и интеллигентна! Интеллект: разум, а не дубина! Никому ничего не навязывать, а только своей честностью и терпением доказывать свои убеждения...

Звонит второй звонок, последней шпилькой закаляется белоснежный парик Короля-Солнца. Иннокентий Михайлович идет на сцену. Я тоже вслед за ним выхожу из гримерной и бегу к службному выходу, чтобы успеть занять свое место в зале. На сцене — все та же тема личности, жизни, судьбы, характера в столкновении с Историей и Временем. Тема, волновавшая людей во все эпохи человеческой истории...

(Ончание на стр. 8—9).

ВЕЧЕР ВТОРОЙ

После того, первого, спектакля я поднялась к Смоктуновскому. Костюмер медленно и осторожно расшнуровывала огромные королевские сапоги, вешала на вешалку камзол, убирала парик... Было поздно, все устало, в воздухе еще витало эхо булгаковских страстей — и говорить о чем-либо было невозможно...

К счастью, через несколько дней была еще одна встреча. И на сцене МХАТа — в его старом здании, на первой сцене Отечества, — снова шел «Мольер».

— Иннокентий Михайлович, почему сегодня в театральной жизни, да и вообще в жизни нашей творческой интеллигенции, так много распри, междоусобиц, почему так много сил и времени уходит на сколачивание организаций, союзов, «команд»? Почему это все происходит за счет нашего времени — времени, когда дана возможность ставить все, что хочешь, говорить о самом важном, о чем десятилетиями молчали?

— Мне кажется, можно понять людей. Мы все никак не ожидали, что откроется — нет, даже не форточка, а широкие ворота. Не случайно у нас нет современной драматургии, равной этому прекрасному веянию. Люди от души желают что-то сделать — и этот импульс нельзя гасить. Не надо так бояться брожения

умов. Мне кажется, эта пена скоро уйдет. Почему? Потому что многие вещи переделает время: не будут держать стяжателей, бездарей, говорунов. Будут высказывать и делать ставку на способных людей, я уж не говорю о талантливых. Оттого мне верится, что всем наносным и ложным страна переболеет...

— Но мы боеем уже четыре года!

— Когда так долго, так невероятно долго шла вся жизнь — 70 лет! 70 лет! — люди мучались, ждали: должно, должно, должно измениться... И нет, и нет, и нет! И вдруг лед тронулся! Конечно, не все сразу получается. Потому режиссеры и хватаются за Достоевского, а делают «достоевщину» — разучились.

У меня был опыт в Ленинградском БДТ, тогда публика вообще Достоевского не знала. Он впервые появился после страшных запретов — это была чуть ли не контрреволюционная литература. Мы поставили «Идиота» с Товстоноговым, и у нас были ошеломляющие аншлаги, потому что это был театр о человеке, о душе, о том, что мы утратили. Понимаете?

Мне кажется, пора нам вернуться к вопросу, что же такое семья... Для меня, поскольку вы берете у меня интервью, для меня семья — это в первую очередь жена: здесь — тепло, любовь, надежда, вера, уют, достоинство, и мораль, и нравственность. И если о том спросить, что же такое Смоктуновский, то это во многом моя жена. Потому что во мне были, наверное, заложены какие-то

добрые, высокие чувства, но они дремали. Одухотворение, творческое состояние, все прекрасное открылось во мне за время моей совместной жизни с этим замечательным человеком — Саломеей Михайловной Смоктуновской. Достаточно вспомнить, что я дважды отказывался от роли Гамлета. Дважды! Причем активно: и пьеса, мол, чудовищная, все там друг друга убивают, и никакой там правды нет... Но Саломея Михайловна настояла, чтобы я работал. И я начал работать. Она сказала: если не ты, то больше просто никто. Я отвечал: «Ну и пусть!» Она убеждала: «Нет. Для тебя это нужно. Не для кого-нибудь, а в первую очередь для тебя». И начала постепенно мне объяснять, что же в этой пьесе происходит... Она так же была уверена в моих силах и заставляла меня быть сдержанным, собранным и очень настойчивым в моей самой большой работе — над князем Мышкиным.

Со стороны может показаться, что я слишком много отдал в своей работе жене... Ну что же делать, если это на самом деле так? Если бы не было ее, я просто, извините, спился бы. К этому все шло. Но она сказала: грязи не будет, или семья, или — ступай. Причем это было сказано без всяких поз, без всяких фраз. Раза два были очень конкретные, очень высокие по насыщенности сцены, где я понял, что этот человек не только говорит, просто она сделает то, что обещает. В общем, она — редкий по силе характер.

— А ваши дети?

ДВА ВЕЧЕРА В ГРИМЕРНОЙ

СЕМЬЯ № 19. 1989 г.

— О детях могу сказать, что здесь не так все просто, как предполагалось, когда они были маленькие. Дети вырастают, и с ними вырастают, часто неожиданным образом, проблемы, которые мы сами заложили в них, — то, чего бы не хотели видеть в них сегодня. Но тем не менее здесь, я думаю, не только семья, но и опять-таки время, какие-то социальные сдвиги повлияли на них. Это в чем-то пресыщенное, избалованное, обленившееся поколение, думавшее, что удовольствия будут продолжаться всю жизнь, и все так просто и прекрасно, и оттого была выбита из них основа, которая заставляет быть деятельными, жизнеутверждающими и бескомпромиссными. Здесь, очевидно, много виноватых. Я, конечно, очень люблю детей, но все чаще они несут в мою жизнь вопросы, на которые я просто не знаю, как отвечать...

Звоню к началу спектакля. Иннокентий Михайлович уходит, а я остаюсь в гримерной одна. Коробочки с гримом, камзол короля, в который оденется Иннокентий Михайлович после антракта — на второе действие, жабо с искусственным бриллиантом, — теперь, в отличие от первой встречи, не слепят глаза, не бросают блики на лицо собеседника — все это фон, на котором отчетливее отпечатываются слова артиста, произнесенные минуту назад... Вдруг открывается дверь. Смоктуновский расцаряно входит в гримерную: «Забыл свои драгоценности. За разговорами

не надел перстни — хорош Людовик XIV без драгоценностей!» Я виновато улыбаюсь, извиняюсь за то, что вношу в без того суетливую обстановку перед спектаклем новые заботы. Но доброжелательность, с которой Иннокентий Михайлович, оглянувшись с порога, успокаивает меня... Я вспоминаю слово «тактично»...

Ну и вот — последняя часть разговора.

— Я знаю наверное, что человек — их достоинство, их совесть делает человеческое государство. И если этого не случается, то только потому, что государство где-то что-то пропустило, просмотрело. Это я могу сказать обо всем поколении, к которому принадлежат мои дети. И к которому принадлежите вы. Вы не обижаетесь на мои слова, нет?.. Но я не хочу сказать ничего дурного о них, о вас. Я хочу, чтобы последующие поколения были поддержаны больше духом, а не расслаблены: «Сделайте мне красиво, убожайте меня!» Нас, отцов, обвиняют в том, что мы, дескать, не знаем свою молодежь, что она прекрасно себя показала в Афганистане... Вы знаете, мы тоже себя прекрасно показывали, когда надо было отстаивать честь и достоинство своей Родины, но это — экстремальная ситуация. И сама эта экстремальная ситуация еще требует, чтобы мы ее однажды назвали тем именем, какое она представляет в сути своей. Не в крайних ситуациях проявляется суть че-

ловека и суть поколения, а в будничных. Попробуйте каждый день жить честно...

— Вы свою книгу, написанную в 1979 году, во времена, которые не были слишком годны для особого оптимизма, назвали «Временем добрых надежд». Почему? Это был просто удачный период в вашей личной и творческой жизни? Или что? Почему именно такое название?

— Изначально было не «Время добрых надежд», а «Время добрых надежд». «Бэ!» Но главный редактор сказал: вы допустили ошибку, что такое?! Вы обязательно эту черточку загните сюда... Тут нужна другая буква...

А если вы читали книгу, то там, правда ведь, больше бремени, хотя и добрых надежд...

Оптимизм — сказали вы?..

Я люблю свою Родину. Я люблю ее до дрожи, до самозабвения! Я хочу, чтобы здесь люди жили по-человечески, и потому я писал книгу с каким-то солнечным зайчиком в душе. Я хочу, чтобы здесь было хорошо, потому что народ-то ведь хороший! И почему он такой обездоленный, я до сих пор понять не могу. Почему на него все время обрушиваются татарские ига, и всякие семьдесят лет?! Семьдесят лет какого-то террора, быццо же не только буквально, но еще и по душам, что уж совсем гадко! Но я всегда верил в мой народ, потому что мне хотелось верить в самого себя. Ведь если бы все актеры сделали за жизнь хотя бы столько же, сколько сделал я... Понимае-

те? У меня есть провалы, у меня есть страшные падения, но все-таки, если говорить честно, без ложной скромности, то есть работы, которые поставили меня в положение, пусть временное, но в центре общественного мнения. Я помню эти зрительские глаза на Гамлете, я вижу их теперь на Мольере, я помню людей, которые выходили после «Идиота»...

Но, может быть, я ошибаюсь?! Я не тщеславный человек, но, может быть, я ошибаюсь в силу того, что я больше эмоционально мыслю, чем мыслю эмоционально... Понимаете? Я больше воспринимаю жизнь, как дельфин. Неким локатором улавливаю окружающее меня, близких, далеких, злых, добрых... Но я и сейчас работаю так, как работал всегда. Я работаю честно. Наверное, для того, чтобы мы сегодня куда-то вырвали, надо быть честным — тогда ты безо всякой иронии, как прежде, назовешься достойным сыном великой страны... По-другому-то ее нельзя назвать!

Снова прозвенел звонок... А когда артист вернулся в гримерную, мы возобновили нашу беседу. Только теперь диктофон был выключен — вопросы задавал он, а я старалась отвечать на них с той же искренностью и правдой, с какой отвечал он на мои вопросы в течение этих двух вечеров в его артистической гримерной. И еще — я старалась быть... тактичной.

М. РЕШЕТНИКОВА.
Фото В. Машатина